

Каждый раз, когда мне случалось проезжать мимо небольшой, примостившейся на отлогом лесном берегу деревеньки Черемшанки, я слышал такую песню:

Может, весной, может, осенью звонкой,
Когда полыхают берёзки в огне,—
Ко мне, молодой и беспечной девчонке,
Любовь пришла ко мне.
Лети, моя песня, далёко-далёко...
Пусть голос мой слышит ночная звезда.
Я с милым простилась под елью высокой,
Простилась навсегда...

Песню эту пел иногда хор девушек, работающих на колхозном поле недалеко от берега. Но чаще в прозрачной тишине отчётливо звенел одинокий девичий голосок. Он о чём-то сожалел, грустил и радовался в одно и то же время.

Песня казалась мне странной, непонятной. Что-то было в ней недосказано, точно певцы пропускали всегда самый важный куплет. Или я не уловил, не разобрал его?

Проезжая Черемшанку, я каждый раз стал прислушиваться к голосам более внимательно. Я выучил песню, записал её слова. И только тогда убедился, что куплета, который рассказал бы недопетое, — нет.

Может быть, я так и не разобрался бы в своих мыслях, связанных с песней. Может быть, я забыл бы о ней со временем. Только судьба забросила меня на несколько дней в Черемшанку.

И в первый же день я снова услышал знакомую мелодию.

— Послушайте, что это за песня? — спросил я маленького энергичного старичка, который оказался поблизости.

Его звали, как я потом узнал, Максим Теременцев. Он вместе со мной послушал несколько минут льющиеся откуда-то сверху голоса и промолвил вместо ответа:

— А тут, заметьте, всегда поют...

— Кто же поёт?

— То есть как кто? — старик с сожалением посмотрел на меня. — Известно кто... Она, Алка Уралова.

— При чём тут какая-то Алка? Там целый женский хор...

Старичок опять насмешливо осмотрел меня с ног до головы и проговорил:

— А как же? У нас всегда так. Сначала Алка, а потом обязательно хором.

Уходя, старик добавил:

— Там, за речкой, сено косят.

Это объяснение, однако, нисколько не помогло мне. Чтобы понять песню, надо было знать историю её рождения, которая связана, в свою очередь, с историей любви Алки Ураловой и Сергея Хопрова. Вот она, эта история...

Полдень. Слабый ветерок нет-нет да и качнёт лениво верхушки столетних елей и сосен. Тихонько зашумит лес, стряхивая с себя дремоту.

А под деревьями не шелохнётся и травинка.

Неширокая дорога пышет жаром. Воздух пахнет расплавленной смолой.

По дороге медленно движется бричка, гружённая свеженакосенной травой. На возу двое: широкоплечий, немного сутуловатый парень лет двадцати восьми, в порыжевшей от солнца сатиновой рубахе, без фуражки, и худенькая девушка в простеньком синем платишке. Волосы у парня курчавые,

белые, глаза поглядывают откуда-то из глубины, и кажется, что от них струится холодок. У девушки волосы гладко зачёсаны назад и собраны там в небольшой тугой узелок.

Парень сидит на возу неподвижно, курит. Девушка лежит позади него поперёк воза, заложив под голову загоревшие до черноты руки, почти не мигая, смотрит серыми глазами в безоблачное небо, еле слышно поёт о неизвестном гармонисте, который грустит об угасшей своей любви.

Жалобно льётся мелодия и сразу гложет в густом вязком воздухе. Парень бесстрастно дымит папиросой: песня, очевидно, его не трогает.

Девушка прервала песню, вздохнула, прислушалась к скрипу колёс. И ещё раз вздохнула.

А потом вдруг раскинула руки в стороны, чуть вскинула голову, точно отгоняя навеянную собственной песней грусть. Блеснули её влажные глаза.

Не грусти ты, парень бравый,
Вечерком приди в дубраву.
Нам сыграешь — мы споём...
А потом
От всех тайком
Мы куда-нибудь уйдём —
С тобой вдвоём...

На лбу и нижней губе девушки выступали капельки пота. Она стёрла их тыльной стороной ладони и, секунду передохнув, запела ещё звонче:

Брось грустить по ней, мой друже,
Я нисколько той не хуже —
Посмотри-ка на меня:
Обмилую,
Обцелую
Жарче пламени-огня.
Вот такая я...

«А-а-я-я-я-я...» — долго звенело над лесом. Застоявшийся горячий воздух не мог заглушить песни, и она летела, летела над деревьями, как выпущенная из клетки птица.

Девушка прислушивалась, как всё дальше и дальше уносились звуки, и, набрав в лёгкие побольше воздуха, скороговоркой повторяла:

Вот такая,
Вот такая,
Вот такая, парень, я...

И снова прислушивалась.

— Эх ты, Алка! Тебе фамилию бы не Уралова, а Оралова,— произнёс парень, не поворачиваясь.— День и ночь у меня в ушах стоят эти твои... арии. Надоело. Силосную яму докончим, ладно... а потом скажу председателю колхоза — пусть другого помощника даёт...

Алка примолкла.

Лес между тем кончился, показалась Черемшанка. Небольшая речка серебряно-чешуйчатой лентой огибала деревню. Тысячи солнечных бликов слепили глаза. Когда въехали на мост, Алка вскочила на ноги:

— Ну что ж... Прощай, Сергуша...

И прямо с воста через перила моста прыгнула головой вниз в воду. Завизжали от восторга копошившиеся на берегу голые почерневшие ребятишки. А Сергуша — точнее, Сергей Хопров — даже не пошевелился, только скосил глаза на вспыхнувшие радугой водяные брызги.

Алка вынырнула далеко от моста и, часто взмахивая руками, поплыла к берегу.

Когда Уралова, в ещё не успевшем просохнуть платье, подошла к силосной яме и взялась за вилы, Сергей Хопров не сказал ей ни слова, только подумал: «Пойду к председателю сегодня же. Или завтра, в крайнем случае. Пусть другого помощника даёт...»

Но подумал просто так, из упрямства, чтобы обмануть себя в чём-то...

А песня взлетала теперь уже над деревней:

Иду я тропинкой степною росистою —
Искрится, сияет на солнце роса.
И кажется мне — про любовь мою чистую
Птичьи звенят голоса...
Птичьи звенят и звенят голоса.

И слышна Алкина песня далеко-далеко, на другом конце села, где стоит колхозная птицеферма. Слушают песню птичница Люба Хопрова, жена Сергея, и только что подъехавший с зерном Максим Терemenцев, дед Любы. Старик

одной рукой держится за дробину брички, другой прикрывает от солнца глаза и, задрвав бородёнку, всматривается туда, откуда несутся звуки, точно надеясь увидеть певицу. Люба стоит рядом, нервно комкает в руках полу белого халата, но лицо её спокойно, только чуть бледновато, да в чёрных глазах поминутно вспыхивают и гаснут огоньки, то печальные, то растерянно-тревожные.

— Эк заливается... Почисти соловья! Даст же Бог такой голосище! — бормочет дед Максим, прищёлкивает языком. А потом вдруг сплёвывает на землю, сердито трясёт рыжей бородёнкой: — И кому голос даден? Хоть бы человеку!..

— Дедушка! — умоляюще восклицает Люба Хопрова.

— А ты молчи... Дед я тебе или не дед? Ну то-то... Помогай отгружать зерно.

Люба Хопрова и Максим Теремецков молча принимаются работать. А песня Алки Ураловой летит у них над головами, звонкая, неудержимая...

...Пою про любовь, о которой мечтаю,
Которую жду и никак не дождусь...

— И скажи на милость, человек ведь вырос,— опять кивнул дед Максим в сторону, откуда доносилась песня.

— Ты же только что сказал: не человек она...

— Что сказал? Ну сказал... Без родителей она росла... Жила у старой Перепелихи. От неё и песни складать, видно, научилась. А ты зачем перечишь? Дед я тебе или не дед? — снова раскипятился старик.— Эх ты, Любаха-милаха... Как бы этот соловей твоих детишек сиротами не оставил. Знаем мы такие песни...

Люба подняла на деда свои тёмные, широко открытые глаза, щёки её стали ещё бледнее.

— Где уж моему Сергею,— стараясь казаться спокойной, рассмеялась Люба.— Он девок чурается, как чёрт сухой вербы...

— От такой чурнёшься, как же... Не захочешь увидеть, так услышишь. Да ты слепая, что ли?

И дрогнуло красивое Любкино лицо, не выдержало сердце. Как стояла, так и осела она на мешки с зерном, заплакала вдруг тяжёлыми, давно искавшими выхода слезами.

— Дедушка!.. Неужели это правда? Я не хотела верить... Изменился Сергей ко мне... и к детям. Вижу это, не слепая, а не верю. И что говорят про него — не верю. Как же это? А?..

Максим Теремеццев растерянно заморгал морщинистыми красноватыми веками и принялся торопливо шарить у себя по карманам, хотя трубка торчала у него во рту. Потом обошёл вокруг брички, потрогал, надёжно ли закручены гайки у задних колёс. И только проделав всё это, подошёл к внучке, присел рядом на мешок.

— Вот оно дело-то какое, голубушка... Я же о том и говорю... Ну будет, будет, перестань.

— Разлучница проклятая!.. Ведь дети у него... Дедушка, помоги,— в отчаянии выкрикивала Люба Хопрова.

— Эх, Любаха-милаха... Никудышный я помощник в таких-то делах. Тут уж ты сама как-нибудь... Поговори с ней, пристыди непутёвую. Заполошная она, а может, поймёт. Совесть должна быть у каждого человека... и сознательность соответственно.

— Как же мне быть теперь, дедушка? — Люба подняла заплаканное лицо и уткнулась ему в колени.

Морщинистой рукой старик гладил густые, горячие от солнца волосы внучки.

— Я её, Уралову, не люблю,— вместо ответа проговорил он.— Непутёвая она, озорная... А вот поёт душевно, люблю. Артист — и только. А Сергушку приструнить — твоё уж дело. Поймёт — остынет. А потом — знаешь, потухшую трубку выколотить надо. Тоже твоё дело...

— Господи, и откуда она взялась на мою голову, проклятая? Мало ей холостых парней...

А над деревней, как бы в насмешку над горем Любы Хопровой, звенел счастливый голос Алки:

...Я песню пою, мою спутницу верную,
А мне улыбается каждый цветок.
И кажется мне:
Про любовь мою первую
Шепчет степной ветерок...